# Дан Пагис



# *Отец*

## Прозаические миниатюры

*Перевод с иврита и вступление* Никиты Быстрова

Читатели "Иностранной литературы" уже имели возможность познакомиться с несколькими стихотворениями израильского поэта Дана Пагиса по переводам и предпосланной им вступительной статье Александра Бараша (ИЛ, 2007, № 5), а также в подборке стихов израильских поэтов (ИЛ, 2020, № 5). Нынешняя публикация прозаического цикла Пагиса "Отец" обязывает еще раз напомнить о тех обстоятельствах его биографии, обращение к которым поможет лучше понять этот текст.

Дан Пагис (1930—1986), признанный классик современной ивритской поэзии, родился в румынском городе Рэдэуци (Южная Буковина) в немецкоязычной еврейской семье. В 1934 году его отец, Иосиф Пагис, уехал в Палестину, с тем чтобы, обосновавшись там, в самом скором времени вызвать к себе жену и сына. Но именно в то время, когда все уже было готово к переезду, мать маленького Дана (тогда он еще носил свое первое имя, впоследствии тщательно им скрываемое — Северин) умерла от внезапной и скоротечной болезни. По настоянию деда и бабушки, родителей матери, четырехлетний Пагис остался с ними. И вместе с ними же в 1941 году был депортирован в один из "трудовых лагерей" печально знамени-

© Дан Пагис, наследники, 2009
© Никита Быстров. Перевод, вступление, 2020
Прозаические миниатюры публикуются с любезного разрешения наследников Дана Пагиса.

той Транснистрии (часть Украины между Днестром и Южным Бугом, находившаяся во время войны под румынским управлением), где пробыл до 1944 года, выжив каким-то чудом. Дед погиб в лагере, бабушка уцелела и после войны вернулась в Румынию. Об этом периоде своей жизни Пагис говорил весьма неохотно. Его жена Ада пишет в книге воспоминаний "Лев питъоми" (буквально "Внезапное сердце", по названию одного из стихотворений Пагиса): "Дан не соглашался рассказывать о депортации. То, что случилось с ним тогда, омрачало всю его жизнь, и он изо всех сил пытался скрыть это от себя и от других. <...> Очень кратко он высказался в одном интервью, которое дал после выхода книги 'Синонимы' (1982): 'Они послали нас в трудовой лагерь, не в концлагерь. И я не все время был с дедом и бабушкой'"[1].

В 1946 году по приглашению отца Пагис приехал в Палестину. Окончил Иерусалимский еврейский университет, в 1964-м получил докторскую степень по еврейской литературе. Опубликовал несколько монографий об ивритской поэзии Средневековья и Ренессанса, в частности, о светских стихах Моше ибн Эзры и поэтов его поколения. Стихи на иврите начал писать уже в конце 40-х; язык, прежде почти совсем ему незнакомый (уроки иврита в школе, если учесть время, отнятое лагерем, мало что оставили в памяти), выучил за два года в кибуце Мерхавия[2] (по договоренности с отцом, должен был прожить там всего год, но пребывание в этом и других кибуцах затянулось без малого на десять лет — только в 1956-м Пагис перебрался в Иерусалим). Первая поэтическая публикация состоялась в 1949 году, первый сборник, "Солнечные часы", вышел в свет в 1959-м, вслед за ним — еще шесть книг, из которых одна, "Последние стихи", издана посмертно, в 1987 году.

К написанию прозаических миниатюр, объединенных общим названием "Отец", Пагис приступил в 1982-м, в год смерти отца. Работа над ними остановилась, когда поэт тяжело заболел и уже не мог довести до конца почти завершенный текст (косвенное упоминание об этой болезни дается в начале фрагмента "1985. В венской библиотеке", а в предпоследней новелле о ней говорится открыто: "сразу вслед за тобой я тоже умру"; здесь же звучит и слово "сартан", рак). Ханан Хевер, один из редакторов пагисовского однотомника "Все стихотворения" (первое издание — 1991), где была опубликована эта проза, пишет в примечаниях, что в ее состав долж-

1. Ада Пагис. Лев питъоми (Внезапное сердце). – Тель-Авив: Ам овед, 1995. – С. 38.

2. В стремлении Пагиса как можно быстрее выучить иврит некоторые исследователи его поэзии усматривают симптом осознанного разрыва с прежней жизнью и ее, говоря семиотически, структурным "кодом" – немецким языком. Так, по словам Сидры Дековен Эзрахи, "можно утверждать, что, выбрав иврит в качестве языка поэзии, Пагис тем самым создал преграду на пути возвращения к собственному прошлому" (Сидра Дековен Эзрахи. Кварим баавир: кинун ґа-зикарон беширотейґем шель Пауль Целан веДан Пагис (Могилы в воздухе: конструирование памяти в поэзии Пауля Целана и Дана Пагиса) // Зманим, 1995, № 53. – С. 21

ны были войти биографически важные документы, письма и фотографии, но Пагис не успел включить их в уже сложившийся, хотя и неокончательно оформленный корпус текстов (исключение составляют несколько писем, вошедших в одиннадцатый фрагмент). Две или три новеллы, как, вероятно, заметит читатель, остались недоработанными — словно бы забытыми на полпути от нестройного наброска к законченному произведению. Некоторые тексты в рукописи не были озаглавлены — в этих случаях названия даны редактором и заключены в квадратные скобки. Но вместе с тем "Отец" производит впечатление органически цельной вещи, обладающей всеми признаками композиционного и смыслового единства. Его незавершенность — по существу, нереализованность конечного замысла, — может быть, и досадна, но на восприятии читателя, по моему ощущению, она сказывается лишь в самой минимальной степени.



Для многих, кто пишет о творчестве Пагиса, его поздняя проза — явление исключительное. Дело не в том, что у него это первый и, видимо, единственный более или менее объемный прозаический опыт (стихотворения в прозе, каковых немало, и научные работы в данном случае не в счет), а в том, что это — опыт автобиографический. Скрывающий свое прошлое, предельно "закрытый" поэт, для которого молчание — не только элементарная форма не-говорения, утаивания, но, как заметил Михаэль Глузман, "принципиально важная тема, чей источник — в осознанном неприятии общепринятых норм исповедальной экспрессивности и исповедального языка"[1], — этот поэт здесь радикально меняется, обнаруживая, по словам Ады Пагис, "склонность открываться себе и другим"[2].

Стихи Пагиса по большей части антибиографичны; черты конкретной событийности, равно как и приметы места и времени, в них либо недостаточно отчетливы, либо переведены из исторического в метаисторический (часто — ветхозаветный) план. Характерный пример — стихотворение с нарочито провокационным названием "Автобиография" (1975), где "я" авторского alter ego как бы сливается с образом библейского Авеля, и в этом слиянии перед нами возникает "новый", но одновременно и тот же самый — древний, вечный Авель, снова и снова погибающий от руки своего брата: "Я умер от первого удара, я был похоронен / на каменистом поле...". Что же касается новелл, включенных в цикл "Отец", то они действительно знаменуют некую поворотную точку в отношении Пагиса к "биографическому" вообще и, как следствие, к собственной биографии. Но и здесь бытийная ситуация рассказчика остается, по-видимому, той же, что и у героя пагисовской поэзии (в ивритоязычных статьях о Пагисе ее нередко обозначают выражением "мет-хай", "мертвый заживо"). Недаром еще в самом начале, в одной из двух миниатюр, предваряющих основной текст, партнер

1. Михаэль Глузман. Зикарон лело субъект: аль Дан Пагис вешират дор ґа-медина // Дан Пагис: мехкарим ветеудот / орех Ханан Хевер (Память без субъекта: о Дане Пагисе и поэзии поколения государства // Дан Пагис: исследования и материалы / ред. Ханан Хевер). – Иерусалим: Мосад Бялик, 2016. – С. 89.
2. Ада Пагис. Лев питъоми. – С. 11.

отца по карточной игре говорит ему: "Это ты должен снова стать живым, но, прости за откровенность, у тебя мало шансов". Возможно, именно непреодолимость этой ситуации, наряду с обстоятельствами чисто литературного свойства, побуждает Пагиса к смещению некоторых открыто "фактографических" элементов рассказа в область снов и видений (такова, как минимум наполовину, реальность этой прозы: она повествует о встречах и разговорах с уже умершим отцом), где между описанными событиями и тем, что было "на самом деле", сохраняется тонкий зазор, позволяющий автору откровенно говорить о себе и в то же время — как обычно — быть верным тактике утаивания.

Главное событие, прямо или косвенно обсуждаемое в каждом фрагменте цикла — это возвращение к отцу. Возвращение, по сути, не состоявшееся. Нельзя вернуться в обычную жизнь из призрачного лагерного существования, в котором ты уже "был забыт / в опечатанном вагоне" (строки из поэмы "Следы"), "был тенью" (стихотворение "Свидетельство") и от которого внутренне так и не освободился, сознавая себя оставшимся "здесь навсегда" (финальные слова другого стихотворения, "Поверка"). Нельзя преодолеть инаковость опыта, отчуждающую от других (даже близких) людей, тем более что в разговорах между отцом и сыном это отчуждение только усугубляется чувством вины отца, превращающим любой его монолог в сбивчивое оправдание. Но самое большое препятствие на пути возвращения пагисовского героя к отцу (и обоих его героев друг к другу) — время, точнее, *прошедшее* время. Все уже поздно ("Ты опоздал к своей жизни, я опоздал к твоей смерти"): встреча, состоявшаяся в 1946-м, оказывается как бы неокончательной, и даже любовь — подлинная и, бесспорно, обоюдная — не в силах придать ей желанную завершенность. Это, если судить по финальному фрагменту "Отца", будет доступно только смерти, упраздняющей власть времени.

"Так что же, Данеле, ты намерен все это записать и напечатать? Пиши, пиши, не смущайся. Если кто-то вдруг прочтет, то все равно не поверит. Да ты и сам-то, сказать по правде, во все это не веришь".

"Не понял ты своего отца, — говорит мне грузный человек, папин партнер по картам. — Совсем не понял его. Ты на него похож, но — только внешне, прости за откровенность". Я раздражаюсь: "И что? Он должен снова стать живым, чтобы я понял его?" — "Нет, нет, — говорит партнер по картам, — это ты должен снова стать живым, но, прости за откровенность, у тебя мало шансов".

## Черри-хиринг

Мы, Йонатан и я, почти ничего не купили в магазине беспошлинной торговли в Париже. (Ночной рейс "Эль-Аль" перенесен в отдаленный терминал, там практически все закрыто.) В середине полета по громкоговорителю сообщили, что члены экипажа вынесут для продажи товары дьюти-фри – такое чисто израильское удовольствие. В прежние годы я привозил тебе из-за границы сигареты – до сих пор жалею, – потом лосьон после бритья, потом, по твоей просьбе (тут ты мне как бы подсказываешь), специальную ткань для протирания очков. Ты помнишь? "Этого мало, – говорит мне Йони, – пойдем, купим еще что-нибудь для деда". Тележка с товарами, подталкиваемая двумя проводниками, застревает в проходе – слишком много рук тянется к ней. Я набираюсь смелости, тоже чисто израильской, протискиваюсь между всеми этими руками, достаю большую бутылку, и не напрасно: это превосходный датский шерри-бренди, я его знаю – черри-хиринг, всего восемь долларов, темно-красный, горьковато-сладкий, чудесный ликер. Как правило, чтобы не брать лишних пакетов, я достаю бутылку из картонной упаковки и засовываю ее между вещей ручной клади, в маленький серый чемоданчик, который мне особенно дорог (он уже много поездил со мной). Посадка и выдача багажа проще, чем обычно, – проходят быстро, как сон. Мы берем багажную тележку (маленький чемодан сверху, над прочей поклажей) и выходим. Ады среди встречающих нет. Как же так? Йони, у которого всегда при себе жетоны, звонит домой. Она ошиблась датой! Но, по крайней мере, она дома. Она хочет поговорить со мной и с ходу, без предисловий, сообщает: "Я должна тебе сказать прямо сейчас... ты приготовься... твой отец вчера умер. Похорон еще не было, я их не задерживала – хотела тебя поберечь, но все решили, что надо подождать до твоего приезда, то есть, как мы думали, до завтра. Ты слышишь? Что ж ты молчишь? Я сейчас же еду в Лод за тобой".

Я возвращаюсь к Йони и говорю ему: "Она скоро приедет". Толкаю тележку к ряду пластиковых стульев, натыкаюсь на них. Маленький чемодан, кувыркнувшись, падает на пол. Я ставлю его рядом со стулом. "Слушай, Йони, мама еще кое-что сказала. Случилось несчастье. Дедушка вчера умер".

Он молчит, сидит на пластиковом стуле, смотрит на меня. Пожилой человек проходит рядом и говорит: "Что у вас произошло? Разбилось что-то". И в самом деле, мы – посреди темно-красной лужи. Из чемоданчика сочится черри-бренди – липкий, горько-сладкий, тошнотворный, – прямо на

плитки пола. Я убираю бутылочные осколки, бегу к водопроводному крану, пытаюсь спасти документы и забрызганные рубашки, отмыть чемодан – само собой, безуспешно. Этот чудесный густой ликер непобедим. Память о нем липнет к чемодану до сего дня. В следующую свою поездку – тебе это уже все равно – я опять купил бутылку черри-хиринг и провез ее в том же чемоданчике. Она доехала невредимой.

## *Сон*

Это отец? Нет? Тяжелые сугробы покрывают его по всей ширине кровати. Я (это я, нет?) сижу рядом с ним, смотрю на него. На мне пальто, как принято, надрезанное в знак траура. Итак, это все. Но нет, он тянет ко мне руку, он жив, он полон жизни, сугробы исчезают, тело его, с крупными родинками (судя по фотографиям, он был очень красив в молодости), темнеет и опухает. Я тревожно спрашиваю: "Проверить тебе пульс?" – а он, неохотно: "Пульс? Что это вдруг?" Сильно раскрасневшийся, пылающий жаром, он начинает рассказывать мне то, что забыл рассказать вчера. О служащих своей конторы: выйдут они на работу, не выйдут, – все это наводит на меня скуку, но он очень доброжелателен, и я притворяюсь, что мне интересно: "Так что, откажутся работать?". Тут он меня окончательно узнает, он ужасно мил со мной, просто ужасно. И мне уже подумалось, что все это взаправду, что вот сейчас он уведет меня от бренных вещей, от мира, но это – только до того момента, когда он умолк, сморщился, оторвался от кровати, и желтый, прямой, сухой, как стебель соломы, стал парить в воздухе.

## *1982*

Ты появляешься у ворот кладбища, немного припоздниившись, в новой соломенной шляпе, в элегантном костюме, – приходишь в хорошем настроении и спрашиваешь: "Так когда мы выходим? Вы знаете анекдот про 'когда выходим' и 'когда заходим'?" Я бледнею от замешательства. Ты чувствуешь это и умолкаешь на полуслове. Сдаешься. Подходишь к бетонному павильону, ложишься на каменную скамью, поспешно наматываешь на себя куски белой ткани. И вот уже два пожилых господина хватают тебя – один за ноги, другой за голову, бросают на грязные носилки. Ты лежишь там, как большой кокон перед тем, как из него появится бабочка, и спрашиваешь, теперь уже не очень уверенно: "Ну так что, мы выходим?"

Один из этих пожилых мужчин, как мне показалось, более потрепанный, чем другой, подходит ко мне и спрашивает: "Ты сын? Хорошо. Похож. Это отец? Хорошо". Он укрывает тебя, вкладывает мне в руку замызганный листок с кадишем, делает ножом надрез на воротнике моей рубашки, и шесть человек уносят тебя от меня. Я иду по их следам на песке — твои следы уже в воздухе. И вдруг ты начинаешь раскачиваться между ними, словно от нетерпения, и носилки клонятся набок. Я протягиваю руку, чтобы помочь им, но они хором кричат: "Нет, нет!", а затем вежливо поясняют: "Ты — сын, тебе нельзя к нему прикасаться".

## [Б*отинки*]

"А ты-то что, Данеле, у тебя все было в порядке? У меня, черт возьми, душа не на месте с тех пор, как ты приехал в Страну. Вдруг оказалось, что у меня есть сын, почти семнадцатилетний, репатриант, совершенно неприкаянный, ну, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Всю мою любовь — прости за выражение — я хотел отдать тебе. Но не вышло. Поначалу ты без конца говорил о тех евреях, которых с детства знал в Рэдэуци. По пути на пароход у тебя украли рюкзак, и о нем ты тоже говорил непрерывно, а еще сказал, что не доверяешь ни одному человеку. Но Тель-Авив тебя просто очаровал, и иврит ты хотел выучить как можно быстрее. Ко мне относился учтиво, или, лучше сказать, непроницаемо. Всегда вежлив: да, папа, пожалуйста, папа. Мне это нравилось, но я этого не любил, если ты меня понимаешь. И так все время. Может, только последние три-четыре года, пока я был болен, ты находил повод на меня покрикивать, потому что я не принимал таблетки по расписанию. Ты, значит, покрикивал, а я ощущал это как проявление родственной близости. Ты думаешь, что щадил меня, когда не разговаривал со мной о важных вещах. Тебе надо было дождаться, пока я умру? Не утверждаю, что ты важничал (если я правильно употребляю это слово), но все-таки оставался далеким. Чужим. А ведь ты, черт побери, видел, что я хочу заботиться о тебе. Денег у меня не было (надо было выбрать отца побогаче, а?), но мы съездили и устроили тебя в кибуц по линии молодежной алии (ты же помнишь поездку в иерусалимский сохнут, с меня тогда взяли пять лир), а потом еще успели посетить Стену Плача, нам сказали, что это не опасно — тогда, весной сорок седьмого. В Тель-Авиве я всегда был готов ходить с тобой по делам, а если была возможность, звал к нам на шабат — особенно в те годы, когда ты жил в городе и был студентом на учительских курсах.

И не говори, что тебе не понравилось, как мы сходили в тот славный ресторан на улице Дизенгоф. Что ты смеешься, я просто не знаю, как это лучше сформулировать, речь совсем не о ресторанах".

"Да, папа, я благодарен тебе и за это, и еще за многое. Ты по-разному пытался заботиться обо мне. Помнишь, как-то зимой, поздно вечером, я приехал из кибуца, ботинки были грязные, пришлось оставить их под дверью. А утром — сюрприз: они стоят рядом с кроватью, черные, блестящие: ты их почистил! Ты почистил мне ботинки!"

"Не делай из этого истории, Данеле, мне всегда нравилось что-нибудь чистить".

## Над *отцом не смеются*!

Чего я от него хочу? Самые строгие слова за тридцать пять лет, что я живу в Израиле, он сказал мне в первые же дни, когда я только приехал. Мы сидели с ним и его второй женой за завтраком, и он спросил (еще по-немецки, с русским акцентом, иврита я тогда не знал), не сохранил ли я какие-нибудь семейные фотографии после того, как меня обокрали по пути в Страну. Я рассмеялся: "У меня еще должны быть фотографии? Я и сам-то еле выжил". И тогда он тихо сказал: "Над отцом не смеются". Я был поражен, что он говорит о себе в третьем лице, как будто хочет подчеркнуть свой статус, намекнуть, что имеет в виду вещи принципиальные. Над отцом не смеются. В тот момент я как-то сжался. С тех пор ничего такого больше не повторялось, я уже не давал ни единого повода.

## [*Просьба*]

"Дан П., как дела? Ты, значит, тоже едешь из Святого города, чтобы вкусить малость тель-авивской жизни?" Я пытаюсь заслонить надрез на рубашке: "А у тебя как дела?" Он находит свободное место позади и говорит мне прямо в ухо: "Слушай, давно хотел тебя попросить кое о чем. У тебя, как мне говорили, есть связи с издателями. Я написал рассказ. Необычный. Не говорю, что хороший, пусть судят другие. Но он... очень странный, своеобразный — о семье. Не мог бы ты его прочитать и дать рекомендацию? Лучше письменную. Ты знаешь, что у тебя рубашка порвана?" "Конечно, рассказ прочитаю и порекомендую кому-нибудь. Я сейчас выхожу. Ты хочешь мне его прислать, да?"

## *Первая годовщина*

Годовщина. Ты выбрал для смерти девятое ава – день, когда родился Мессия. Ты знал, что и в этом можно найти повод для шутки. Однако твои мучения были слишком тяжелы, точь-в-точь как страдания Мессии, – до самого твоего избавления. Меня тогда не было рядом – не по моей вине, а по воле случая. Я прибыл только к похоронам.

Девятого ава на этом кладбище большая ярмарка. Люди протискиваются между торговцев, как сквозь ворота, покупают гвоздики, сок в жестяных банках, пластиковые поминальные свечи. В день годовщины мы, скорбящие, явились сюда впятером. В этой общине верных – твоя жена (насколько я помню, четвертая) и два приятеля по пансиону (для других это далеко). В прошлом году мы наняли в кладбищенской конторе дежурного хазана, йеменского еврея, обессиленного от множества панихид. Без всякого желания он потащился за нами, но, когда мы дошли до могилы, приободрился и запел тоненьким голосом, красиво и прочувствованно. А ты смеялся, я слышал тебя – ты смеялся, потому что мы неожиданно устроили тебе вечеринку в восточном вкусе.

В этом году я принял решение: без хазана. Стоим перед могильной плитой (нас обманули: мы заплатили за категорию "бет", а получили "гимель"[1]), и вдруг твоя жена вынимает стеклянную банку из-под цветной капусты (на ней еще сохранилась этикетка "Тнува"), наполняет ее водой из крана, что рядом с дорожкой, и погружает в нее связку гвоздик, купленных у ворот. И еще неожиданность: она достает тряпку, наклоняется, чтобы протереть плиту, трет. Моет. Теперь – мой черед. Я произношу кадиш – внятно, но не без смущения, а потом Меир, один из твоих приятелей: "Я не буду требовать, чтобы мой сын устраивал по мне панихиду". Но для твоей жены и это слишком кратко, слишком скудно, и она ворчит: "Надо было еще помолиться".

Они поворачиваются, чтобы уйти, а я на минуту задерживаюсь возле тебя. Хорошо, что в этот раз ты не смеялся. Мне было четыре года, когда ты уехал от меня, и семнадцать, когда я приехал к тебе после войны. Просто посчитай в уме: сколько лет? Потом мы жили в Израиле, поблизости друг от друга, по разные стороны – все эти годы. А в самом конце – не по своей

1. Вероятно, имеются в виду категории качества могильных плит (материал, отделка) – заплатили за вторую, а получили третью. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

вине, но по воле случая — я не был с тобой. Ты опоздал к своей жизни, я опоздал к твоей смерти. Счет стремится к нулю и даже в этом не сойдется. Но, по сути, это уже без надобности: я освобождаю тебя от всех твоих обетов, от всего, чем ты был связан, от всех оправданий твоих.

## *1983*

С тех пор как отец умер в прошлом году, он стал лучше говорить на иврите. Он говорит мне: "Полагаю, можно утверждать, что я бросил тебя целых два раза. Когда это было? В 1934-м (представь, почти пятьдесят лет назад) я приехал сюда и сразу нашел работу в Тель-Авиве. Готовился к вашему переезду — твоему и мамы. Но внезапно мама умерла, а сразу после этого я за тобой не вернулся. Говорю об этом снова, потому что ты склонен все забывать. Это было так неожиданно, бабушка, мамина мама, прислала мне телеграмму в Тель-Авив — я никак не хотел понять... И, само собой, не мог приехать в одну минуту — тогда ведь были пароходы, не самолеты. Ну и денег у меня, конечно, было не много. Года через четыре или, может, через пять, в 1939-м, я приехал вас навестить и опять оставил тебя там, с дедом и бабушкой. Они мне сказали: куда ты заберешь ребенка, в пески? В пустыню? И несмотря на то, что я рассказывал им удивительные вещи о Тель-Авиве, — было что рассказать! — я согласился оставить тебя им. Я был к тебе еще не готов. Собирался жениться, сочетаться браком, как говорят. С Бэбой. И думал... но неважно, что я думал — это было на русском. Кто знал тогда, что вспыхнет мировая война, и все прочее! Ты там застрял, в мировой войне, да... и в Катастрофе — ты очень злишься, когда слышишь это слово, тебе кажется, что его слишком часто употребляют, но сейчас, когда я умер, позволю себе назвать ребенка его именем. Извини, не хочу играть словами; об имени ребенка мы еще поговорим, ты ведь поменял даже то имя, которое мы с мамой тебе дали... Ну а после войны? Мне посчастливилось достать для тебя приглашение (я рассказывал, как англичане удивились, когда я его получил? Они привыкли, что это дети просят сертификаты для родственников, а не наоборот). Итак, ты прибыл — вполне даже законно, легально, с британской визой; на пароходах, как я слышал, люди нормально добирались. Но в сохнуте меня обманули: я заплатил за место в первом классе, а они засунули тебя в третий, переполненный. И, конечно, твой всегдашний вопрос: почему я не ждал тебя в Хайфе? К нему я тоже хочу вернуться, потому что ты имеешь обыкновение все забывать. Человек просто не знал, когда при-

дет пароход, в открытом море еще были разбросаны мины, не было никакого расписания. Сказали, что сообщат, но даже в Хайфе ничего не знали, а уж тем более в Тель-Авиве. Вдруг пароход прибыл и встал на якорь в порту, и, само собой, меня там не было. А когда ты нашел тех, кто привез тебя в Тель-Авив, — верно, я был с Бэбой в кинотеатре. Ты мне все время поминаешь это как какой-то курьез: после драмы в кино — драма в доме, взрослый сын падает на меня как будто с неба. Но тебе не пришлось ждать снаружи: хозяин дома впустил тебя, угостил кофе — до того как мы вернулись. Ну а потом — молодежный союз в кибуце. Да, мы тогда решили, что ты останешься там только на год, чтобы немного подучить иврит. Прошел год, тебе в кибуце было плохо, ты потребовал, чтобы я забрал тебя в город, как было обещано. Я обещал... Но куда бы я тебя привез? Конечно, мы жили в симпатичном районе, рядом с улицей Дизенгоф (ты знал, что он мой дядя?[1] я у него ни разу ничего не попросил; он, правда, рано умер, через год после моего приезда), но ты же помнишь, что у нас была только одна комната, даже кухня общая с хозяевами. Так где бы ты жил у нас, под кроватью? Кстати, знаешь анекдот про 'под кроватью'? Мужик приходит домой и обнаруживает, что его жена..."

"Папа! И почему же у вас ничего не было? Инженер-химик (так ты напечатал на своих визитных карточках), обладатель французского диплома, а здесь, в Израиле, просто человек без заработка. Год-два ты работал в банке, но банк вылетел в трубу. Потом сделался импортером сливочного масла (какая идея!), но масло заплесневело еще в открытом море; открыл кафе рядом с площадью, и тоже неудачно. Обо всем этом ты мне сам рассказывал. Что еще, импорт шелковых чулок для богатых арабок в Яффо? Когда я здесь оказался, ты мне радостно сообщил, что нашел постоянную и непыльную работу в бухгалтерии кожевенного склада, в... как бишь его? — в той мрачной дыре на южной окраине города, я еще успел ее увидеть. А рулоны кожи-то были пыльные (впрочем, их пряный запах мне нравился). Только в последние годы у тебя появилась работа, связанная с химией — да, да, я думаю, это важно, хотя связь и была непрочной, — в центре стандартизации: на четверть химик, на три четверти клерк, но работал ты как-то не всерьез. Тебе вообще все смешно, на любой случай у тебя — анекдот".

"Вот по этому поводу не читай мне нотаций, — говорит он. — Смешить людей — благое дело. Только с тобой это у меня плохо

1. Имеется в виду Меир Дизенгоф (1861–1936), первый мэр Тель-Авива, чьим именем названа одна из главных улиц города.

получалось. Твое чувство юмора – скажем так, оно особенное, ну, вроде как времени у тебя на это нет. Ты был на учительских курсах, потом преподавал в иерусалимской школе, а после в университете – всегда занятой, всегда во что-то погруженный, словно находился где-то не здесь. Я не сетую. Наоборот, как говорится, лучше сын бедный да честный, чем сын-картежник, и так далее. А ты знаешь байку о женщине и картах? Она жалуется: 'Мой сын не умеет в карты играть'. А подруга ей: 'Это же хорошо!' А она: 'Но ведь он играет!' Видишь ли, Данеле, надо уметь жить играя".

"Если бы ты мог снова стать живым, ты показал бы мне, как это делается?"

Он задумывается на минуту и спокойно говорит: "Не нужно, так слишком просто".

"Что происходит, – кричу я, – я не хочу быть похороненным здесь, рядом с тобой – здесь нет места! И вообще, папа, у меня и времени нет, я должен встать и пойти на работу!" Но теперь уже он удерживает меня и как-то очень тепло говорит: "Опять нервничаешь? И почему у тебя времени нет? Хватит, наконец, все это выяснять да объяснять".

## *Чужие похороны*

Я, папа, случайно оказался здесь, на твоем большом кладбище: умер отец одного приятеля – ты не был с ним знаком, – и я пришел на похороны. В объявлении, как обычно, сказано: встречаемся у ворот. Я прибыл немного раньше, чтобы навестить тебя. При мне выписка из кладбищенской книги с твоим адресом – сектор, участок, ряд, номер могилы. Как добраться? У ворот сказали: направо, снова направо, прямо и налево, а там уже близко. Я, ускоряя шаг, иду к нужному месту.

Но что это – хоть бы какая-то логика! Вслед за десятым сектором идет шестнадцатый, а за ним – девятый. Вижу невдалеке кого-то живого, спрашиваю: извините, где двадцать пятый сектор? Разводит руками в сдержанном отчаянии: он тоже здесь новенький.

Времени уже почти нет, сколько нам останется? Правильно, я пришел сюда не только ради тебя, попутно примкнул к чьим-то похоронам, ну так и что? Тебе непременно нужно отомстить – спрятаться, сделать так, чтобы я блуждал (сейчас уже бегом) среди всех этих имен?

Я громко кричу: "До свидания, папа!" Ты услышишь меня оттуда, с твоего места. А я должен вернуться к воротам, к чужому мертвецу, которого нетрудно будет найти.

## 1984

В это девятое ава, в день второй годовщины, нас, скорбящих, осталось только двое. До полудня приезжаю, чтобы забрать твою жену, Аннушку. Она взволнованно спрашивает: "Ты уже придумал, что скажешь там?" Я вспоминаю, что среди книг, стоящих в гостиной, есть у меня сидур, маленький и потрепанный. "Да", – говорю я ей. "А! Это Библия?" – спрашивает она. Нет конца чудесам! "Нет, нет, как объяснить?.. Библию читают, а по сидуру молятся".

На этот раз она покупает гвоздики в магазине рядом с домом, торгуется: "Послушайте, господин Азулай, скиньте немножко. Это – на могилу моего мужа". Я краснею и протягиваю продавцу деньги, но она решительно меня останавливает: "Своему мужу я сама покупаю цветы".

Автобус номер 92, идущий в Холон, переполнен, люди пытаются укрыться от раскаленного солнца, толпятся на теневой стороне. Весь путь до Холона смещаются с одной стороны на другую. Тень меняет положение с каждым поворотом дороги. Я сижу на солнечной стороне и молчу. Но Аннушка, сжимающая в руке букет цветов, хочет поговорить: "Это далеко, ты знаешь, но не беда – мы же не спешим". Рабочий в спецовке, сидящий напротив, лицом к спине водителя, замечает: "Точно, куда спешить? Они подождут". И только через минуту до меня доходит: он действительно имеет в виду мертвых. Вот наглость!

На твоем кладбище в самом разгаре ярмарка девятого ава, еще более оживленная, бурная, чем в прошлом году. Поминающих и торгующих неизмеримо больше. Как человек опытный, я знаю, что здесь можно потеряться, и уже не полагаюсь на нумерацию секторов – иду, сверяясь с картой. Только Аннушка удивляется: как это – уже прошли двадцать шестой сектор, а тут вдруг – девятый? Но вот, наконец, и сектор двадцать пять, твой участок, твой ряд. Прокладывая путь в песке, между надгробий, дохожу до конца. Могилы нет. Нет, значит? Ну, в этот раз ты от меня не ускользнешь, я пришел специально ради тебя, в день, для этого предназначенный. Я прохожу по соседнему ряду, возвращаюсь к началу. Аннушка начинает ворчать: "Я же тебе говорила", – но в эту минуту ты меня спасаешь. Твоя могила внезапно появляется у меня перед глазами, как будто была там все время, твое имя высечено на ней рядом с ה"בצנה[1]. Зову Аннушку:

1. Аббревиатура библейской фразы "Да будет душа твоя завязана в узел жизни" (סייחה רורצב הרורצ רתמשנ התיהו). I Цар. 25:29.

"Это здесь". Она, как-то ковыляя, подходит, открывает пластиковый пакет — оказывается, она опять привезла пустую банку из-под капусты. Этот церемониал я уже выучил. Иду к водопроводному крану, набираю в банку воды, она вставляет туда пучок гвоздик, наклоняется над могильной плитой и начинает ее мыть.

Одинокий кантор бродит вокруг, приглядывается. Только что закончил панихиду на одном из соседних рядов и вновь — в поисках работы: "Желаете 'Эль мале рахамим'[1]?" "Нет, нет, — говорит она, — не нужно, — и добавляет вполголоса: — Он может запросить тысячу, я-то знаю. Ну что же, давай начнем". Я достаю из кармана маленький сидур. Как обычно, кадиш по родителям напечатан в конце, чтобы невеждам вроде меня было легко его найти. Буквы прыгают перед глазами от слепящего солнца. "Да возвысится и святится..." Все проходит за полминуты, а может, и меньше. И что теперь? Уходить еще не время. "Знаешь, — говорю я ей, — прочту это еще раз". Еще полминуты. А сейчас что? Может, найти для тебя какой-нибудь псалом? Лучи солнца нагревают книгу, я пытаюсь прикрыть голову ее страницами и тут замечаю рядом с кадишем, на предыдущем листе, молитву "Биркат левана". Прочитать ее, что ли? Это могло бы тебя позабавить. Но я воздерживаюсь, прячу сидур в карман, и Аннушка говорит: "Ужасная жара. Пойдем уже".

Итак, на этот раз ты снова проделал со мной обычные трюки. Лишь в последний момент показал мне свое надгробие, как факир, внезапно выхватывающий карту из рукава. Но на что жаловаться? Не здесь я тебя потерял и не здесь найду. В нашем долгом споре последнее слово — за тобой: оно высечено черными буквами на могильной плите, прямо перед моими глазами.

## *Письма*

Папа, ты помнишь, как я нашел эти письма? Нет? Через много лет после переезда в Страну, может быть, в 63-м или 64-м, как-то вечером я приехал к тебе из Иерусалима и, увидев, что ты наводишь порядок в шкафу на кухонной лоджии и пытаешься вытравить оттуда тараканов, принялся тебе помогать,

1. "Бог, исполненный милосердия" — молитва, которую обычно произносят при посещении кладбища.

и не без радости: это было чем-то вроде мостика, по которому мы могли бы пройти над нашим долгим молчанием.

И вот с верхней полки, рядом со мной, упал этот старый, потрепанный чемодан. Был он почти пуст, лишь тонкая пачка писем лежала в нем — писем, написанных крупным, щедрым маминым почерком. Я сразу же посмотрел на штемпели — все датированы 1934 годом. Прямо на том же месте, сидя, как помнится, на ступеньке алюминиевой лестницы, я прочитал их. Я был потрясен. Не притворяйся, что не понимаешь. Еще до приезда сюда, когда мне было меньше пятнадцати и я только что вернулся из лагерей и снова стал читать романы, — короче, с тех пор и до того самого вечера я думал: все прежние рассказы бабушки о тебе и маме — неправда, и только ради утешения она говорила мне, что в 1934-м ты уехал в Палестину, чтобы потом забрать туда нас с мамой. Она говорила так, думал я, желая утаить от меня, что, может быть, ты бросил нас из-за новой женщины или ради какого-то другого приключения, и только после войны раскаялся, нашел меня и прислал мне вызов. Я молчал все эти годы, но мечтал, чтобы это было не так. И вот все, что мне рассказывали, оказалось правдой — все было в этих письмах, как будто мама сжалилась надо мной и прислала их снова, чтобы освободить меня от подозрений. Письма свидетельствовали о том, что ты действительно ждал нас и в самом деле все подготовил к нашему приезду в 34-м. Тридцать лет они пролежали в чемодане. Я спросил, не согласишься ли ты мне их отдать, и ты сказал: "Возьми, возьми, почему нет?" — как будто не понимал, насколько они важны. А может, и в самом деле не понимал. Сейчас я прочту их тебе — в знак слишком позднего и, возможно, ненужного извинения за все мои подозрения. Ты спрашиваешь, зачем я извиняюсь: пытаешься меня успокоить или просто прикидываешься? Это совсем не идет такому почтенному покойнику, как ты. И извиняюсь я не от всего сердца: кто, как не ты, виноват в столь долгом забвении? За все эти годы тебе не пришло в голову показать мне эти письма, потому что ты просто о них забыл. Я тебе напомню. Прочитаю их. Это — моя месть.

2 сентября 1934

Дорогой Джолике[1]!

Мы были на отдыхе, и мальчик хорошо загорел. Жаль, что ты не мог видеть, как он с радостным криком вскидывает руч-

1. Имя отца — Иосиф. В англизированной форме — Джо, уменьшительное от него, на традиционный идишский лад — Джолике.

ки при виде большой реки. Все изумляло его: лес, луг, он скакал среди кустов, как быстрый коричневый заяц. Все время скучает и о тебе. Когда поехали домой, спросил: почему в Рэдэуци, почему не в Тель-Авив, к папе? А когда были в гостях у Сули[1], сказал мне: везет же Артуру, его папа – с ним. Как мне трудно быть вдали от тебя, даже если остается всего два месяца! Или три? Во всяком случае, постараемся приехать до середины октября, вместе отпразднуем день рождения мальчика. Четыре года – это большой праздник.

А до того ты станешь настоящим гражданином Палестины и, может, даже будешь богатым, во всяком случае, уважаемым. Здесь удивляются, что тебе уже удалось найти такую хорошую работу. Восемь лир в месяц! Не сглазить бы. Скажи, был ли ты уже у Дизенгофа? У твоего дяди, он там глава города – это не пустяк какой-нибудь. Ты должен к нему сходить. Если он не поможет тебе сразу, так хоть познакомишься, и то хорошо. Господин Дизенгоф известен (не только в Палестине, но как будто и во всем мире) как человек отзывчивый, он помогает всем, кто к нему обращается, тем более родственникам.

А как у тебя по части языков? Учишь иврит и английский? Я – пока нет, потому что преподаватели еще не вернулись из летних отпусков. А в конце осени меня ведь уже здесь не будет. Представь себе, твой русский и мой немецкий, и к этому добавятся еще два языка! Но, конечно, главное – иврит.

Жестяной аэроплан, который ты прислал – изумительный подарок. Мальчик уже умеет его заводить, винт крутится, и все гости должны смотреть, как мы вдвоем, то есть он и я, летим к тебе в Тель-Авив. Но моя дорогая мама этот аэроплан у нас каждый вечер забирает, прячет его для сохранности в сервант, за стекло, а мальчик, глядя на него, испытывает танталовы муки. Ему ужасно хочется разобрать его на части. Он – твой сын, действительно твой.

Кстати, новая нянька (ты с нею еще не знаком) хочет вместе с нами ехать в Эрец Исраэль. Как по-твоему, это возможно?

Ты помнишь про пятилетний юбилей нашей свадьбы, 18 августа? Я отпраздновала его у Сули, которая приготовила роскошный стол, настоящий пир в саду, и пригласила целую толпу людей. Мы много танцевали, но, конечно, виновника торжества там не было. А как ты отпраздновал? В следующем году, с Божьей помощью, устроим вечеринку вдвое лучше

1. Домашнее имя сестры матери Пагиса, Цили.

этой. Не забывай свою жену среди всех этих тель-авивских красоток. Я просто сгораю от тоски по тебе.

*Юлия.*



**А это — из Черновцов в Рэдэуци**

21 сентября 1934

Дорогие мои, Юлия уже несколько дней у нас. Ничего не поделаешь, ее нужно оперировать. Это всего лишь киста, но в Палестине, как нам сказали, нет хороших врачей, так что ей лучше закончить с этим до отъезда. Доктор Йоваш ее осмотрел и поставил тот же диагноз, что и доктор Орнштейн: только киста. Разница в том, что, по его мнению, надо и матку удалять. Но об этом нечего и думать — у женщины, которая так молода? К нему мы больше не пойдем, к тому же он и берет слишком дорого. В отличие от него этот Орнштейн очень симпатичный. Он будет оперировать ее в своей клинике и даже обещает выделить палату покрасивее. К тому же он наш друг по ложе — ну, вы знаете, вольных каменщиков. Не печальтесь из-за всего этого. Господь поможет. Операция примерно через неделю. Юлия добавляет несколько строк. Целую.

*Ваша Лиля.*

Итак, дорогие мои, если нужно, то нужно: я готова. Доктор Орнштейн очень мил; у прежнего врача нас кое-что настораживало, в том числе некоторые его пациенты — я вам еще расскажу. Мальчик говорит, что скучает по деду и бабушке, а раз так, приезжайте в Черновцы, навестите нас. Не забудьте привезти мне ночную рубашку для Лили! И еще немного денег, тысяч пять, например. Если не трудно, мама, привезите мне зеленую шляпу с широкими полями. Надену ее после операции, когда соберусь выйти в сад. Целую.

*Ваша Юлия.*

*Почта, телеграф и телефон, Палестина, Эрец Исраэль. Телеграмма. Отправлена: Рэдэуци. Получена 15 декабря 1934. Для Пагиса, Кацу, ул. Нахмани, 38, Тель-Авив*: Юлии нет точка мы все должны вынести этот удар судьбы точка ты тоже должен быть сильным точка мальчик остается у нас нет смысла ему уезжать сейчас письмо отправлено точка целуем.

18 декабря 1934

Джо, дорогой,

я глубоко потрясена. Страшная буря пронеслась над нами, и я не знаю покоя. Самый красивый из моих цветов увял, нет его больше. Никогда еще Юлия не была так прекрасна. Она

съездила в Черновцы, чтобы подобрать одежду, которая, как она думала, потребуется ей в Палестине, и все мне показала: это платье она наденет, когда вместе с Джо отправится в гости, а другое платье — когда пойдет с ним в театр. Это было в воскресенье, а назавтра она пошла в больницу, как было назначено. Мальчик, правда, был очень болен и оставался у нас, но она не хотела откладывать операцию — лишь бы поскорее выздороветь и поехать к тебе в Тель-Авив.

Я оставалась возле нее при всех ее мучениях, я поцеловала ее в губы, и она в ответ поцеловала меня. В самом конце она воскликнула: мама, ты заслоняешь мне путь, я уже хочу быть в земле! Зигфрид насилу меня вывел. А потом я стояла и смотрела, как ее опускают в землю, и уже невозможно было представить, что вот она встает и возвращается домой! Почему я должна говорить ей прощальные слова, а не она мне? Почему не наоборот? Это противоестественно. Нет беды горше этой. Теперь ясно: я грешная, преступная мать, и это — мое наказание.

С черновицкого кладбища поехали прямо в Рэдэуци после того, как собрали мальчика. Он пылал от жара. Его болезнь усилилась. Это были страшные дни, а ночи были еще страшнее. Но Бог услышал наши мольбы и вернул нам мальчика. Его тетки, Лиля и Сули, часто бывают здесь и приносят игрушки, чтобы развлечь его.

Сейчас нет никакого смысла тебе сюда приезжать. Условия жизни в Палестине таковы, что ты не сможешь как следует присматривать за мальчиком, а если приедешь, то не решишься оставить его здесь — это разобьет его сердце. Так что не приезжай пока. Кто даст нам силы исполнить наш долг перед ним?

*Твоя мама.*

Увы мне, есть ли у меня еще право так подписываться?

"Хорошо, что прочитал, Данеле. Приятно было услышать эти письма из твоих уст. Как ты мог подумать, что я о них забыл? Только из-за того, что хранил их в этом чемодане? Такие вещи хранились в моем сердце, если ты простишь мне это выражение. И вообще, в тот самый вечер, когда ты нашел их, я показал тебе еще кое-что — документы вроде этих, и ты видел, что я прекрасно помню, где они хранятся".

"Верно, папа. Мы вышли с балкона, что на кухне, в спальню. Ты достал из стенного шкафа большой желтый конверт и извлек из него диплом Тулузского университета (инженер-химик, подпись ректора, обильный узор по краям) и фотогра-

фию с вашей свадьбы (профиль к профилю, идеальная пара в идеальном ореоле, фотограф расширил его кистью и еще сделал ретушь, оставив нетронутыми твои брови и мамины ресницы). Однако ты забыл, что и диплом, и фото ты уже показывал мне несколько раз до этого, может быть, через неделю после приезда в Страну. Был там еще и голубой конверт, но про него я не спросил: уже и письма были для меня чем-то бóльшим, нежели я мог вынести".

Почему вы решили тогда перебраться в Палестину? Только раз, и то не напрямую, я задал тебе этот вопрос. В 34-м опасность была еще не видна, ты прекрасно чувствовал себя в наших местах, и, как мне рассказывали, не имел ничего общего с сионистским движением. Ты ответил: "Да, надо было начать все заново. Но мы не удостоились быть вместе". И это ответ? Я надеялся, что ты сам покажешь мне, что хранилось в другом, голубом, конверте, в стенном шкафу спальни. Но ты его не открыл.

Три года назад, когда мы вернулись с твоих похорон, я подошел к шкафу, но Аннушка тут же спросила: "Ты что-то ищешь?" Глазная катаракта не мешала ей видеть то, что было нужно. Через неделю она сказала мне: "Здесь есть разные бумаги, — как это говорят: документы, счета. Я не могу их прочитать — из-за своих глаз. Как будет возможность, ты объясни мне, что там". Прошло две недели, и я напомнил ей об этих документах. Она сказала: "Конечно, чуть позже, как будет возможность". Прошло три года, и я уже ничего от нее не ждал. Но тот голубой конверт, который ты держал в руках тогда, годы назад, становился как бы все больше и больше и не давал мне покоя: спрятанное сокровище, оставленное тобой в наследство. Теперь послушай: неделю назад Аннушка легла в больницу на очередную операцию катаракты, а я вспомнил, что у меня есть ключ от вашей квартиры, ты мне когда-то его дал. Я не был уверен, что он еще подходит: Аннушка, вероятнее всего, поменяла замок. Но нет. Видимо, она не подумала об этом или поскупилась. Когда, приехав в Тель-Авив, я вставил в замок ключ, дверь открылась сразу, как в волшебной сказке, и я проскользнул внутрь. Замаскированный вор. Ключи от стенного шкафа всегда лежали в ящике стола. Они до сих пор были там. Я с волнением открыл дверцу шкафа: конверт по-прежнему на той же полке, под полотенцами. Запустив в него два пальца, достал большую бумагу — твой диплом: инженер-химик, узоры на полях. Потом фотографию с вашей свадьбы: та же идеальная пара, тот же сияющий ореол, улыбка, может, даже еще более широкая. Ну а сейчас, сейчас — голубой конверт. В страхе и трепете я опустился на твою кро-

вать, рядом со шкафом (она была застелена желтоватым покрывалом), и вот достаю из конверта связку бумаг. По размеру все они кажутся одинаковыми. Я разворачиваю их в форме веера, как держат покерные карты, постепенно обнажая их с краев, чтобы рассмотреть. Удача игрока. Первая карта оказалась давно оплаченным счетом за телефон. Не важно. А что потом — такой же счет? Одним взмахом руки я швырнул их в воздух, они испуганно вспорхнули и разлетелись по всей кровати. Все, все они — телефонные счета за прошлые годы, такие-то и такие-то разговоры, такая-то и такая-то плата за пользование, и на всех — прямоугольники официального штампа: уплачено, уплачено, уплачено.

"Но, Данеле, почему ты не спросил у меня? Я бы тебе сразу сказал, что там ничего нет".

## [*Мальчик действительно твой*]

Я растерян, потому что, снова говоря об этом "милом мальчике", она добавляет: "мальчик твой, действительно твой". Но минутку, минутку, я перечитываю: "мальчик твой, действительно твой", — почему "действительно"? Почему она говорит "действительно"? В чем здесь можно усомниться? Я очень испуган. Я не могу спросить... нет, я должен спросить. "Ты же не станешь мне рассказывать, что она и кто-то, то есть что я... Нет, не прерывай меня, послушай меня, посмотри мне прямо в глаза. Ты не из-за этого ли уехал в Палестину? Или, точнее, уехал в Палестину, как уехал бы в любое другое место? Нет, нет, не прерывай меня..."

"Данеле, Данеле, что с тобой? Я уехал, потому что мы вдвоем, мама и я, хотели начать все заново, и я еще расскажу тебе об этом, — во всяком случае, не из-за кого-то другого. И вообще, посмотри в зеркало, ты не видишь? Лоб, глаза удлиненной формы, скулы — это же все мое. Откуда взялись у тебя такие болезненные мысли? Она написала — как ты сказал? мальчик действительно твой, — в точности то, что хотела. Если бы я был еще жив, ты мог бы даже генетическую экспертизу сделать (такие делают сейчас), не обижайся — я шучу, конечно, ты не сделал бы экспертизу, наша кровь уже сама собой удостоверена. Ты это знаешь".

"Да, папа, и наш прах — тоже. Я просто счастлив, папа".

"Я был лишь разведчиком — твоим и маминым, да-да, разведчиком в авангарде своего маленького стана. Но, Данеле, очень скоро оказалось, что весь стан — это ты, ты один".

"И почему ты мне не расскажешь, как вы решили уехать, как ты уехал в одиночестве, как ты нашел работу, овдовел, женился, как присматривался к взрослому сыну (когда внезапно его получил; извини, это — шутка). Расскажи мне об этом сейчас по порядку, с самого начала до самого конца — как все было".

"Зачем это, Данеле, — как все было? В жизни ничего не бывает по порядку, все всегда смешано, перемешано, перепутано. И не говори мне, что это — дешевая философия. Это вообще не философия, просто так и есть. Все, что ты попытаешься услышать 'по порядку', прочувствовать 'по порядку', — подделка. А ты ведь хочешь правды, хоть я и не понимаю зачем".

## *1985; в венской библиотеке*

Мое обычное место занято, однако у меня нет времени с этим разбираться. Я обнаруживаю свободное место в ряду читающих и протискиваюсь к нему. У него, как обычно, есть номер, но сейчас мне это безразлично, отваживаюсь его занять. Теперь, когда передо мной лежат эти четыре тома, с меня течет холодный пот, капает на стол. Говорю себе: две минуты, не больше, потом встанешь, снова пройдешь между читателями, добежишь до туалета, что в конце коридора, сполоснешь лоб и глаза. Три минуты, четыре, и я опять — перед этими томами. Открываю первый. Это "Кибиц", год 1936-й. Цветные иллюстрации, преобладает голубой и коричневый, истории с продолжением, загадки, скетчи для детей, — какое разочарование: все ново, незнакомо, я ничего не помню. Заголовок: "Наши читатели" и страница с фотографиями мальчиков и девочек. Это мне что-то напоминает, но что? Медленно, не замечая времени, перелистываю газетные страницы от начала до конца. Вот опять: "Наши читатели, фото мальчиков и девочек с адресами из Австрии, Германии, Судетенланда". В нижнем левом углу — я, улыбающийся себе самому вымученной улыбкой, — толстячок шести лет отроду в русской рубашке с застежкой сбоку. Подо мной — мое прежнее имя, которое мне с таким трудом удалось забыть. Оно всплывает из прошлого, подобно телу утопленника. Вот оно. Редакция добавила примечание: "Наш маленький румын очень юн, но он уже — постоянный читатель нашей газеты". Я бросаю взгляд на часы: пять минут у меня еще есть. Бегу к копировальному аппарату.

## Твое имя

"Твое имя? Какое из них? Имя, которое я дал тебе (ну хорошо, не я, его предложила тетя Цили), это звучное латинское имя – ты от него отказался, когда приехал сюда. Выбрал самое обыкновенное: Дан. Я не в претензии. Понимаю, что ты хотел затеряться в Стране, просто впитаться в нее, как вода в песок. Как говорят, выбираешь имя – выбираешь удачу, не правда ли? Но я уже за то тебе благодарен, что ты не поменял нашу фамилию. Ты меня понимаешь?"

"Нет, папа".

## Шаги

У твоих шагов был особенный ритм. Каждый шаг – легкое щелканье каблука, а за ним – пружинистый перестук, энергичный и, может быть, слегка насмешливый. Легкий и пружинистый, легкий и пружинистый. Я хожу по-другому – тяжело, решительно, как сейчас, когда каждый шаг отдаляет меня от твоей могилы. Мы с тобой были совершенными антиподами. Ты милый, открытый, веселый, я – пресный и жалкий. Ну что же, пока! И этот визит на кладбище закончен. Я ухожу, быстро шагаю по дороге, ведущей к воротам.

Вдруг слышу: сначала легкое щелканье каблука, а за ним – пружинистый перестук, энергичный и, может быть, слегка насмешливый. Легкий и пружинистый, легкий и пружинистый. Я перехожу на бег. Твои шаги бегут за мной, со мной, бегут во мне, твои ноги – мои, твоя смерть – моя смерть.

Стоять! – приказываю я себе. Стоять. Я, только я, не ты, не ты! Я благодарен за то, что мы с тобой все же не были антиподами. Благодарен за то, что мы очень близки, – больше, чем хотел бы быть благодарным, больше, чем хотел... Однако различие между нами очевидно и неустранимо: у меня большой размер обуви, 43-й, а у тебя – я хорошо это помню – был всего лишь 37-й.

## Боль и обида

"Боль и обида исходят от потворства твоему самолюбию. – Да, и моему?"

Утверждение о том, что это несчастье, эта обида, вплетенная в страх и отвращение, эти узлы, эта сеть рыболовная, из которой уносит водой то ничтожное, что она уловляет (сеть, собирающая воду и отдающая воду – узлы ее бесполезны, утрачивает

она столько же, сколько ловит в страхе, обиде, отвращении, соленом и мутном), — так вот, утверждение, что сеть несчастья — лишь потворство самолюбию того, кому все дано (чего мне не хватает? — не заработка же, не жены и детей, не дома, не постоянной работы), обычно дополняется разговорами о том, что если бы мне действительно было плохо, то я осознал бы все в истинном масштабе: вот, например, в концлагере или, предположим, на одре больного раком — сокрушался бы я о том, что у меня нет близких отношений с тобой, или о том, что книги, которые я написал, расходятся не так уж хорошо, или что налоговая служба беспокоит меня непрестанно? Это не просто скверный, но и нелепый довод. Я же был там — и в концлагере, и на смертном одре, и, конечно, они оттесняли в сторону другие, как будто бы малозначимые проблемы, но разве и в тех обстоятельствах не требовалось от меня быть живым? Чтобы преодолеть страх и обиду, я должен в буквальном смысле перестать быть. Может, тот, кто этот довод приводит (полагая, что он утешительный, хотя он попросту глупый), думает, что все это — нечто вроде притчи о козе? Что марш смерти или газ, или, например, рак — это как коза, которую надо выселить из дома, чтобы стало просторней? Какая идиотская аналогия! Хорошо, сеть страха, несчастий и обиды — только вместилище якобы незначительных проблем, касающихся работы или книг, или нынешних отношений с людьми, но нити-то этой сети и узлы ее — ведь это та же смерть и те же муки, а для всяких тупиц они — утешение. И они сопровождают меня ежедневно. В каждом прямоугольнике цветочной клумбы я вижу могилу сонма убитых, украшенную по прошествии времени; даже в пределах комнаты, даже в... — что еще я должен сказать? Ты, по крайней мере, никогда до таких аналогий не опускался. Ты видел меня и, как я думал, меня игнорировал (по меньшей мере лет десять-двенадцать мне удавалось скрывать свои страхи даже от самого себя, они прорвались только после Эйхмана[1]), но потом стало понятно, что ты и вправду обращал на это внимание, ничего не делая, ничего не говоря (из-за чувства вины, которое, возможно, у тебя было; во всяком случае, я предпочитаю ставить тебе в заслугу мое избавление от ужасов, потому что ты не забрал меня к себе в израильский период). Повторю, ты никогда не опускался до

1. Имеется в виду суд над Адольфом Эйхманом, проходивший в Иерусалиме в 1961–1962 гг. Как пишет Ада Пагис, "в ранних стихах его ужас все еще замаскирован, но процесс над Эйхманом разом обнажил то прошлое, которое он пытался вытеснить из своего сознания" (Ада Пагис. Лев питьоми. — С. 89).

совета “вывести козу из дома”. Спасибо тебе, что молчал. И не важно, что ты не знал еще, что сразу вслед за тобой я тоже умру.



## *Конец как будущее*

Через семь лет, в десятую годовщину твоей смерти, в прозрачный час, редкий для месяца ава в Тель-Авиве, мы сядем друг против друга на маленьком балконе. И как если бы мы находились на высоте третьего этажа, перед нами развернется весь этот огромный город, который давно перестанет быть для нас своим — он протянется длинными ожерельями, светящимися, как янтарь.

Я прочитаю тебе чужие стихи о чужом кладбище и мне теперь близком; не стану смущаться и в первый раз произнесу в твоем присутствии эти слова: “Крепчает ветер!.. Значит — жить сначала!”[1]. Ты будешь слушать серьезно, тебе же дорога моя память, и все-таки шутливо спросишь: к чему это я? И наше молчание будет благодарным.

Ветер и ветер встречный смешаются перед нами, закружатся, играя, легким водоворотом. Занавески позади нас всколыхнутся, станут широкими, как паруса, но это будет игра, только игра. Мы никуда не поплывем, мы ведь уже прибыли, правда? И ты кивнешь головой в знак согласия.



*Дан Пагис с отцом (1930-е годы)*

1. Строчка из стихотворения Поля Валери “Кладбище у моря”. Перевод Е. Витковского.